

Запах сена

Запах сена

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топориками по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел -- глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно -- еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора. Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек -- он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один -- бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох -- старухи объяснить не могли.

Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрецину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того "Богом обижен", а мне-то наплевать. Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу -- шалишь, кобыла, не тут-то было!

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливаясь -- весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.

Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке -- что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони.

Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами -- темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто... Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброты, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.

Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.

Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброты, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу что есть мочи:

-- Деда, открывай ворота!

Алешка тоже что-то блажит.

Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись -- иначе сшибет надбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко останавливается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.

Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: "Да не черти ли на вас молотили?!"

В конюшне раздается визг, стук -- это Лысуха устраивается, лягает нашего смиренного коня с грозным именем Ястреб.

-- Я те, волчица ободранная! -- кричит Кольча-младший. и Лысуха усмирится.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, Привязывает бастрыги, а в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лафтак языка.

Все. Надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, мы уж следом все повторяем. Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь.

-- Не забудешь, дедушка? -- в который раз напоминаю я.

-- Не-е, -- гудит он снизу.

Дед самый надежный в этом доме человек. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами донимают "худые немочи". В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший рано ложиться, потому что по вечеркам бегаёт на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами.

-- Баб!

Бабушка не откликается, но я-то чую, что она не спит.

-- Баб!

-- Ну какого тебе дьявола?

-- Ты катанки сушить положила в печку?

-- Положила, положила, спи!

-- И Алешкины тоже?

-- И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье.

Шуршат тараканы на печи, щекочут ноги. Я запихал их обе в голенище чьего-то валенка, задираю его, бухаю в стену.

-- Баб!

Никакого отпета.

-- Ба-аб!

-- Я вот встану, я вот подымуся!

-- А ты варежки зашила?

-- Утресь зашью. Спите!

Алешка не дышит, вникает в разговор, и хоть ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко -- благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его разнялись, ослабели. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было, удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом грозитя:

-- Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю, думаю о Лысухе, о которой бабушка плохого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из верховского, Курганского, селения с худым глазом, продавая, выдрал из Лысухи клочок шерсти, бросил ее за печь, она там сохнет, а кобыла мается, корм ей не корм -- и пока ту шерсть не найдешь -- не вестись на дворе скотине, и ведь велела, велела она вывести коня через задний двор -- от сглаза -- да посмотреть потихоньку, куда шерсть хозяин: схоронил -- так зубоскалили только, просмеивали мать. И что получилось?

Передо мной появляется человек, на Кощея Бессмертного похожий, ведет он на

поводу хрому лошадь и сам хромает, а впереди дорога меж торосов виляет, елки, пихты, вересинки коридорчиком стоят, кони трусят, пофыркивают -- это мы уже едем по сено, и сани скрипят мерзлыми завертками, полозья повизгивают, а Кольча-младший напевает себе под нос что-то. И все бежит, бежит зимник по Енисею, потом по лесу с горы на гору, с горы на гору. По сено у нас ездят далеко. Покосов возле села нет. Наше село среди увалов и скал стоит. Покосы на Фокинской речке, на Малой и Большой Слизневке. А наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. Зимой мы на покосе никогда не были. Далеко и морозно. Какой он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живут, лисы живут. И медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз, до неба, и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А бабушка и Кольча-младший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

-- Бр-р-рам! -- повалился я с воза, подскочил, во что-то головой торнул, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так?

Я поднял голову, -- а вместо неба -- щелястый потолок, вместо саней -- горячая русская печка, и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснулся башкой об потолок. Бабушка клянет кошку -- всегда у нее кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу -- кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати -- деда нету. Глянул на вешалку --дох нету. И понял все. И запел. Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала.

Я поддал громче -- никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алешку кулаком. Он с минугой пялился на меня.

-- Ме-ме-ме! -- показал я ему язык и еще свистнул, мол, наших нету, уехали.

И Алешка тоже ударился в голос. Ревел он протяжно, басовито: "Бу-бу-бу-у!"

-- Ий-я вот вам поору! -- наконец не выдержала бабушка. -- Ишь чего удумали!

По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

-- А зачем тогда сулили-и-и?

Алешка поддерживает меня, тянет: "Бу-у-у!" Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слезы на исходе. Алешкино "бу-у-у" звучит уже едва слышно.

Пузырь, правда, выдулся из ноздрей у него сильный, да бабушка не видела пузыря.

Я высунулся из-за косяка средней:

-- Зачем тогда сулили-и-и?

-- Ты чего на бабушку, на родну, зубы выставляш, а?

-- Ничего-о-о-о!

-- Ступай стайку чистить и ори там.

-- Не пойду-у-!

-- Как это не пойдешь?

-- Не пойду-у!

-- Я вот тебе не пойду! -- Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не

больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру.

-- Трескать идите, обозники! -- позвала бабушка.

Я не отзывался, Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. Пропадите все вы со своей едой!

-- Я кому сказала -- жрать ступайте! -- повысила голос бабушка. -- У меня делов по завязку, а оне тут распелись! А ну, слазьте с печки! -- И она бесцеремонно стянула с печки Алешку, затем меня и еще тычка мне дала, несильного, правда. Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет и потому в средней не накрывают.

-- А умываться кто будет? -- поинтересовалась бабушка. -- Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь! -- пообещала она. -- Эк ведь они, кровопивцы, урос завели! Шагом марш к рукомойнику.

Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, и нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюнившись, глядела на нас.

-- Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы! Вот подрастете -- и по сено, и по солому, и в извоз...

-- На будущий год, да?

-- На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уже точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. Мы весело метнулись на улицу, убирали навоз из стайки, пехалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с возами въезжать. Мы готовились встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено.

То-то потеха будет!

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минугу присела возле окна, буднично сказала:

-- Господи-батюшко, умаялась-то как! -- тут же она озабоченно поглядела в окно: -- Ой, чЕ же мужиков-то долго нету? Уж ладно ли у них? -- Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась: -- Нету! Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? И эта Лысуха, эта ведьма с гривой! Говорила не покупать ее, дак не послушались, приобрели одра ошептанного. Теперь вот надсажаются небось...

Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то, нечистых на руку, людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем за вечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

-- Так я и знала! Так я и знала! Эта Лысуха хорошо везет, да часто копыто отряхивает! Покуль ее лупишь, потуль и везет. У еЕ и глаз-то чисто у Тришихи-колдуньи. Ох, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а

что, как в лесу, в этакую-то стужу! Робятишки, вы какого дьявола задницы на пече жарите?! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу, к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

-- Ну?

-- Нету. Не видать.

-- Ой, горе, горе! Да что же это такое! -- Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени: -- Мать Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху усмири!

В доме наступило отчаяние. Полное. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:

-- А вы-то чЕ запели? Может, еще и ничего такого худого и нету. Может, просто задержались, воз завалили либо что? И нечего накаркивать беду!..

Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

-- Робятишки! Вы какова лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало -- на себя и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромождали его, ворота настезь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка -- с другой. Бабушка ворота запирала и как ни в чем не бывало спрашивала:

-- Чего долго-то?

-- Дорога в замЕтах. В Манской речке версты две целик протаптывали, -- ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал Лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

-- Деда, а деда, сено сегодня будем метать или завтра?

-- Сегодня, сегодня, -- ответил за него Кольча-младший, и мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги, сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил -- это острая орудья, ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубарем в снег.

-- Вы дождетесь, вы дождетесь! -- обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал.

Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали.

Сыромятные завертки, растянутые возами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе, студеной, оцепенела луна, множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами.

Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да еще

тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали бастринг на первом возу. Он спружинил, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален. Сена - гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает -- у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать -- корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу -- утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, словно из воды, наверх и поплывешь; поплывешь, но еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот, -- снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони!

-- Ребятишки, вы живые там?

-- Живы!

-- Упрели небось?

-- Не-е!

Но я уже весь мокрый и Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого, урЕмного запаха.

Перекур.

В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок.

-- Баб! -- окликнул я ее. -- Ты можешь траву узнать или цветок?

Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют, доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить.

-- Ну где же я в потемках-то? -- ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно -- это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей: -- Вот это осока. Легко отличается -- жестка, с шипом, почти не теряет цветку. По Манской речке ее много. А вот эта, -- отделяет она от горсти несколько былинков, -- метличка. Ну, ее тоже хорошо знатко. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница-цветок.

-- Жарок, да?

-- По-нашему -- жарок. Завял он, засох, краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолг век цветка, да яркое, а человечья жизнь навряд ли и долгая, да цветку в ней не лишка...

Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал, А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком -- ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

А я вот помню, как летом проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и

темно.

Во тьме полыхали молнии, но грома и дождя еще не было. Вдруг грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез в глубь сеновала. Внизу, в стайке, с насеста сшибло кур, они закудахтали. Крышу осторожно, словно слепой человек голой подошвой ноги, пощупал дождь и, удостоверившись, что крыша на месте и я под нею, заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом по щелям и желобкам.

Меня отпустило. Курицы успокоились. Молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось: сено, грабли, старые веники на шесте, отчетливо выхватывало ласточек в гнезде, спокойно спящих. И снова ка-ак далоИ снова я подскочил с постеленки, пытался зарыться в сено, снова сшибло с насеста кур, и они разом заорали, забазарили -- "ка-апру-ту-ту-какака". Одна курица, слышно было, летала по стайке, билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подружки ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая к окошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот -- задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой, вяжущий сон, так и сморились птахи. Та курица, что летала и "тпру-ту-ту" говорила, должно быть, уселась на пол.

К грому, к молниям все притерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Постращали всех: есть, мол, еще, есть небесные силы. и, если не будете старших слушаться, в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут "кузькину мать".

Дождь размохнатился, загустел, будто шубой накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, на ощепину ли, редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше, и я вместо с ними, согласно и доверчиво погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз вздохнули и зажевала, зажевала...

Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду...

Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать, но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота.

Тесней и тесней становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные попарно на следи и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их.

На самом верху, там, где тес крыши сходилась торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где сейчас говоруньи ласточки? Тоскуют небось по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу.

Я забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами.

Внизу, во дворе, начался разговор:

-- Ну, Иван, лошадку ты отхватил! Одной рукой ее лупи, другой крестись...

-- Недаром говорят... лошадь за рекой купи.

-- А я ее где купил-то, шорта? За рекой, за горой, почти у кыргызов.

-- Нет, робята, -- вмешалась в разговор бабушка, -- деньгами коня не купишь, токо удачей...

На этом и утешились, про коней говорить перестали, на сено перешли. Кольча-младший сказал:

-- Сена лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну, как прикупать придется?

-- Купило притупило! -- снова вмешалась в разговор бабушка. -- Соломы с заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить -- коров не доить...

-- На соломе да на пойле не лишка надоишь.

-- Нет, пойло не бракуйте. Пойло всему голова. Токо руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конечно...

Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон сеновал. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, - подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с Алешкой. И вот сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые, пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала:

-- Хватит табачище-то жрать натошак. За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место деду. Это место свято -- никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

-- Видали, работнички-то уж начеку!

Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось.

Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.

-- Это вам от зайца.

Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке: понял -- это от зайца. Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку.

-- А это от лисы, -- подал дедушка наливную зарыжелую шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов, но это еще не все.

Дедушка еще глубже залез рукою к мешочек и долго-долго не вынимал подарок,

тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас.

А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остано-вилось, в глазах рябило от напряжения. А дед томил. Ох, томил! "Ну, дедушка! -- хотелось крикнуть. -- Да что же у тебя там еще, что?" Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного, стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его:

-- А это от самого Мишки. Он там сено наше караулил.

-- От медведя? -- вскочил я. -- Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! -- показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши -- у нас с ним одинаковое представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

-- Потеху потом бы отдал. Останутся без ужина. Да, мы так и не поели -- некогда было и не хотелось вроде бы. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли мы на полати. На печке сегодня спит дедушка -- он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка -- кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Полати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал -- все утомились, на морозе напеклись и крепко спали.

Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю, тихую ночь дивно-дивные сны.